

П. С. Попов

ПУШКИН КАК ИСТОРИК

Проблема Пушкин как историк до сих пор не разрешена. Еще не изучены все материалы, сюда относящиеся. Подготовительные черновики к «Истории Пугачева» не обследованы со всею тщательностью. Собственноручные записи поэта к истории Петра I на восемьдесят процентов не опубликованы. В оценках исторических работ Пушкина мы встречаемся с односторонними и пристрастными мнениями.

Гениальный поэт отличался необыкновенно широким кругозором умственных интересов. Без преувеличения можно сказать, что он был самым образованным человеком среди своих современников; в этой исключительной начитанности, разностороннем и глубоком интересе ко всем областям культуры и народной жизни — корни исторических занятий Пушкина. Из изучения прошлого своей родины Пушкин извлекал материал для поэтического творчества. Его привлекали наиболее живые и красочные эпизоды из русской истории (эпоха Годунова, начало смуты), его пленяли яркие и мощные образы исторического прошлого. Исторические деятели, в которых проступают черты личной доблести, отваги, удачливости, индивидуальной самостоятельности и силы, манили к себе поэта.

В 1822 г. в Кишиневе под влиянием В. Ф. Раевского Пушкин задумывает трагедию «Вадим», увлекшись национально-историческим сюжетом легенды о новгородце Вадиме, защищавшем права свободного Новгорода. Идея старинного народоправства оказывается по духу Пушкину. Проживая там же на юге, Пушкин в 1823 г. заинтересовывается похождениями известного молдавского разбойника, удалыца Георгия Кирджали; участник восстания гетеристов 1821 г., он был арестован в Кишиневе и выдан туркам. К теме Кирджали Пушкин возвращается несколько раз, покамест в 1831 г. не создает своей повести.

Весьма привлекал Пушкина образ Стеньки Разина, героя народных песен, сказок и легенд. Им он, повидимому, интересовался еще в 1820 г., когда проезжал по Области войска донского. В Михайловском Пушкин записывает с чьих-то слов две песни о Степане Разине. К этому же времени (ноябрь 1824 г.) относится просьба Пушкина к брату прислать «историческое сухое известие о Стеньке Разине, единственном поэтическом лице русской истории». Показательно, что Пушкин называет Разина единственным поэтическим лицом русской истории; позднее Пушкин переносит интерес на ряд других исторических личностей, но таких, у которых есть сходство с чертами Разина. Пушкина влекли к себе те деятели, в которых проявлялась сила, мощь и сопротивляемость духа русского народа.

Тогда же в Михайловском Пушкин выражает интерес к Пугачеву: в другом письме, тоже в ноябре 1824 г. поэт просит брата прислать ему «Жизнь Емельки Пугачева».

С песнями о Стеньке Разине Пушкин потерпел неудачу. По поводу представленных на высочайшую цензуру стихотворений в 1827 г. Бенкендорф сообщил Александру Сергеевичу, что большинство его пьес дозволено к печати («Ангел», «Стансы», третья глава «Евгения Онегина», «Граф Нулин», «Фауст»), но при этом прибавил, что «песни о Стеньке Разине при всем поэтическом своем достоинстве по содержанию своему неприличны к напечатанию. Сверх того, церковь проклинает Разина, равно как и Пугачева».

Как известно, в 30-х годах Пушкин подвергся еще большему воздействию и контролю со стороны двора и Николая I. Этому предшествовал ряд цензурных неудач с «Борисом Годуновым». С тем большим удивлением приходится засвидетельствовать, что Пушкин не поступился своим интересом к Пугачеву: он с таким усердием отдался изучению исторических материалов, с посещением мест, где развернулись интересовавшие его исторические события, и опросом ряда свидетелей этих событий, что создал одну из самых блестящих повестей в области исторической беллетристики — «Капитанскую дочку» и написал «Историю Пугачева». Пушкин, конечно, очень ясно представлял себе все трудности, связанные с изучением и составлением исторического труда о Пугачеве. В начале работ над «Историей Пугачева» поэт не был допущен к следственному делу, хотя архивы и были ему открыты. Пушкин, боясь быть заподозренным, первоначально явно маскировал свой интерес к пугачевщине и прикрывал его проектом работы о фельдмаршале Суворове. В письме Пушкина от 7 февраля 1833 г. к гр. Чернышеву по поводу документов о Суворове

рове, находящихся в архивах Главного штаба, довольно неожиданно на первом месте стоит: «Следственное дело о Пугачеве».

До Александра I тема о Пугачеве была вовсе запрещена; затем о нем стали кое-что писать, но, по правильной характеристике самого Пушкина, эпизод пугачевского бунта был «мало еще известен»¹.

Пушкин не мог не предвидеть тех исключительных препятствий, на которые он должен был натолкнуться, проводя «Историю Пугачева» через царскую цензуру.

Историки до сих пор, думается, недостаточно учитывали, что многое Пушкин принужден был прикрывать, маскировать; его собственная точка зрения несомненно нивелировалась при мысли об отношении официальных кругов к его труду и теме его. Спора нет, исходная концепция, положенная у Пушкина в основание «Истории Пугачева» — дворянская; в основе оценки дела Пугачева лежит идея мирного прогресса, которую Пушкин неоднократно высказывал. В «Капитанской дочке» он писал: «Молодой человек! Если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений» (т. IV, стр. 362; то же самое в «Путешествии из Москвы в Петербург», см. т. VI, стр. 196). Но при работе над «Историей Пугачева» Пушкин вовсе не оставался повсюду верным этой своей концепции. Его личные симпатии и антипатии, обусловленные чутьем великого гения к проявлениям народной жизни, шли часто вразрез с собственной доктриной, оказывавшейся слишком узкой для его глубоко гуманных общечеловеческих установок.

Подходя с этой точки зрения к тексту «Истории Пугачева», надо предварительно снять с него ряд слоев, определявших сложную ситуацию, в которой находился поэт. Надо изъять прежде всего все то, что привнесено было Пушкиным в целях избежания столкновений с царской цензурой; надо, далее, сквозь его дворянскую концепцию нащупать отражение пульса той народной жизни и тех инстинктов, которые стихийно влекли к себе Пушкина и которые делали для него столь близкими черты народных героев. При наличии этих оговорок приходится засвидетельствовать, что в обрисовке личности и деятельности Пугачева у Пушкина проходит гораздо больше положительных черт, чем это могло соответствовать его собственной схеме. Свет и тени перемещаются, если вдумчиво проанализировать материал.

На страницах «Истории Пугачева» Пушкин не скупится отмечать смелость и неустрашимость народного героя. Поэт подчеркивает, что

¹ Пушкин, Полное собр. соч., т. V, стр. 414, ГИХЛ, 1935; по этому изданию приводятся все дальнейшие цитаты.

Пугачев в военных столкновениях всегда предводительствовал и находился в первых рядах. Так было в подступе к Оренбургу 2 ноября 1773 г. (стр. 307), так и в военных стычках с Карром (стр. 313), далее под крепостью Ильинской (стр. 319), в приступах к Яицкому городку в январе 1774 г. (стр. 333), в столкновениях с Михельсоном в июне 1774 г. (стр. 353), под Саратовом (стр. 372), под Царицыном (стр. 374—375). Пушкин не умалчивает об осведомленности Пугачева и его военном искусстве; так, с неизбежными оговорками, он пишет на стр. 309: «...не имевшего другого достоинства, кроме некоторых военных знаний и дерзости необыкновенной». По поводу военных событий под крепостью Татищевой в марте 1774 г. Пушкин отмечает: «Распоряжения Пугачева удивили кн. Голицына, не ожидавшего от него таких сведений в военном искусстве» (стр. 337). В конце 7-й главы Пушкин прямо говорит о Пугачеве, как о предприимчивом и деятельном мятежнике. По поводу военных действий на Волге в конце июля 1774 г. Пушкин замечает: «Пугачев стремился с необыкновенной быстротой, отряжая во все стороны свои шайки. Не знали, в которой находился он сам. Настичь его было невозможно: он скакал проселочными дорогами, забирая свежих лошадей, и оставлял за собою возмутителей» (стр. 368).

В своей официальной книге Пушкин не мог быть откровенным. Наиболее самостоятельные его характеристики оказывались за бортом его «Истории». В январе 1835 г. он представил Николаю I свои заметки к «Истории Пугачева», как материал, который он «не решился напечатать», но «который может быть любопытен». Здесь он писал о военном искусстве Пугачева так: «Разбирая меры, предпринятые Пугачевым и его сообщниками, должен признаться, что мятежники избрали средства самые надежные и действительные к достижению своих целей. Правительство с своей стороны действовало слабо, медленно, ошибочно». Далее идет вывод, уже приемлемый для Николая I: «Нет худа без добра: пугачевский бунт доказал правительству необходимость многих перемен, и в 1775 г. последовало новое учреждение губерниям» и т. д. (стр. 454).

Наряду с знанием военного искусства Пушкин отмечает в Пугачеве черты человечности. Таков эпизод с пастором, приведенным к Пугачеву во время казанского пожара (от этого пастора, ходя в цепях по городским улицам, Пугачев в свое время получал милостыню). Пастор, ожидавший смерти, был принят Пугачевым ласково.

На последних страницах своей «Истории» Пушкин описывает разговор Пугачева, уже взятого под караул и скованного по рукам и по ногам, с академиком Рычковым. Рычков, отец убитого симбирского

коменданта, говоря о своем сыне, не мог удержаться от слез. Пушкин отмечает, что Пугачев, глядя на него, заплакал сам. Те же черты человечности выделяет Пушкин и в своей исторической повести; вспомним первое наблюдение Гринева в «Капитанской дочке» над Пугачевым: «Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъясляли ничего свирепого... все обходились между собою, как товарищи, и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю» (т. IV, стр. 377; ср. также стр. 381).

Пушкин, далее, подчеркивает силу духа Пугачева и смелые его ответы, когда он уже был выдан правительству: «я не ворон, а вороненок, а ворон-то еще летает», говорит он Панину. И далее: «Старые люди еще рассказывают о его смелых ответах на вопросы проезжих господ. Во всю дорогу он был весел и спокоен». Характерна и дальнейшая оговорка Пушкина: «Перед судом он оказал не ожидаемую слабость духа» (стр. 380).

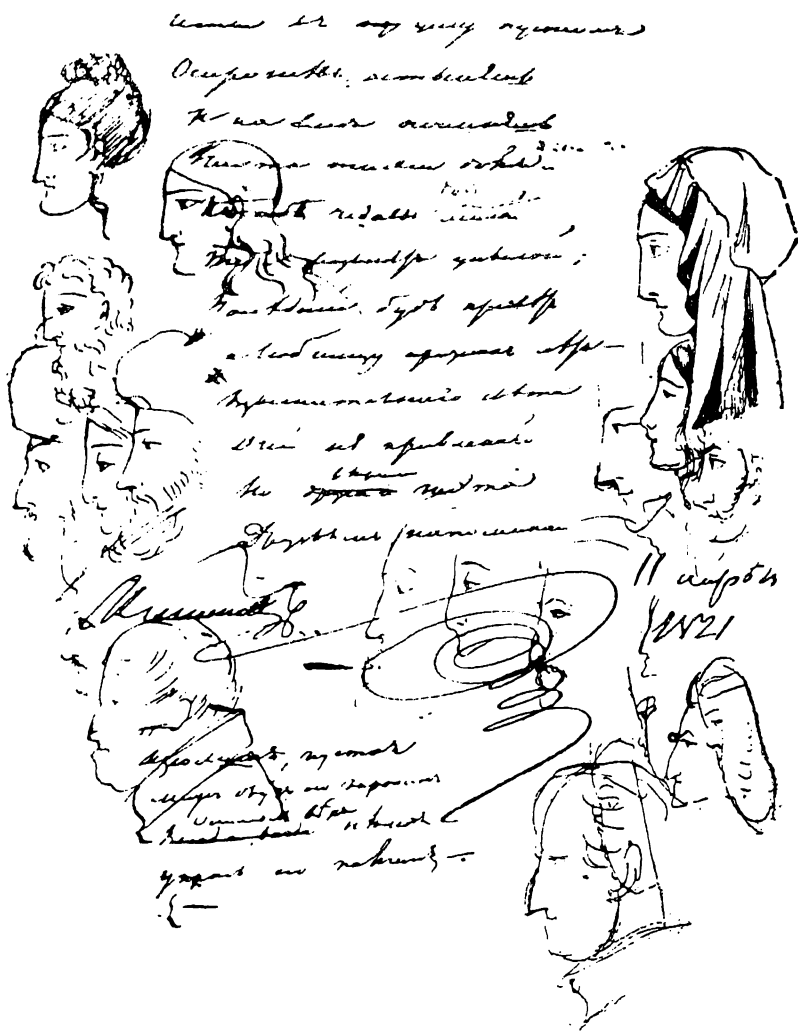
Наконец, самая выдающаяся черта, которую подчеркнул Пушкин,— это умение Пугачева подойти к народу, к массам. «Первое возмутительное воззвание Пугачева к яицким казакам есть удивительный образец народного красноречия, хотя и безграмотного. Оно тем более действовало, что объявление или публикации Рейнсдорпа были писаны столь же вяло, как и правильно, длинными обиняками, с глаголами на конце периодов» (стр. 446).

В противоположность высокой оценке сметливости, силы духа и неустрашимости Пугачева Пушкин расценивает действия его противников как вялые, робкие и нерасторопные. Об упомянутом выше оренбургском губернаторе Рейнсдорпе Пушкин сообщает, что, обезумевши от ужаса, он не подал никакой помощи отряду Чернышева (стр. 315); далее, что после нескольких неудач Рейнсдорп «уже не осмеливался действовать» (стр. 324). Первому главнокомандующему генерал-майору Карру Пушкин дает отрицательную и насмешливую аттестацию: «Карр был перед сим употребляем в делах, требовавших твердости и даже жестокости (что еще не предполагает храбрости, и Карр это доказал). Разбитый двумя каторжниками, он бежал под предлогом лихорадки, лома в костях, фистулы и порячки... Сей человек, пожертвовавший честью для своей безопасности, нашел однакоже смерть насильственную: он был убит своими крестьянами, выведенными из терпения его жестокостью» (стр. 448). В начале ноября 1773 г. Карр, по рассказу Пушкина, теряет «вдруг свою самонадеянность» (стр. 313), а по получении известия о взятии Чернышева совершенно падает духом и думает уже «не о победе над презренным бунтовщиком, но о собственной безопасности» (стр. 316).

О коменданте Нижне-Озерной крепости, майоре Харлове, Пушкин отмечает, что накануне взятия крепости он был пьян, «но я не решился того сказать, — пишет Пушкин в своих заметках Николаю I, — из уважения его храбрости и прекрасной смерти» (стр. 447). Даже в опубликованном тексте «Истории Пугачева» Пушкин сумел отметить «неподвижность» начальников, например, то обстоятельство, что Фрейман, «предводитель робкий и нерешительный», стоял в Кизильской крепости, досадуя на своего товарища, а Станиславский, узнав, что Пугачев собрал значительную толпу, «отказался от службы и скрылся в любимую свою Орскую крепость» (стр. 354). Не умалчивает Пушкин и о том, как испугался Щербатов, получив известие о взятии Осы (стр. 355). Очень выразительно говорит Пушкин о жестокостях генерала Урусова: «казни, произведенные в Башкирии князем Урусовым невероятны. Около 130 человек были умерщвлены посреди всевозможных мучений. «Иных растыкали по кольям, других повесили ребром за крюки, некоторых четвертовали. Остальных человек до тысячи (пишет Рычков), простили, отрезав им носы и уши» (стр. 451). В своих «Общих замечаниях» Пушкин обобщает, говоря, что все немцы, находившиеся в средних чинах, сделали честно свое дело (Михельсон и др.), «но все те, которые были в бригадирских и генеральских, действовали слабо, робко, без усердия: Рейнсдорп, Брандт, Карр, Фрейман, Корф, Валленштерн, Билов, Декалонг, etc., etc.» (стр. 453).

Даже о поэте Державине, действовавшем в то время против Пугачева, Пушкин говорит не без насмешки и осуждения. В связи с военными операциями под Саратовом, в августе 1774 г., Пушкин пишет: «Державин успел добраться до Саратова, откуда на другой день выехал вместе с Лодыженским, оставя защиту города на попечение осмелянного им Бошняка» (стр. 371), а в своих «Заметках» по поводу репрессий, предпринятых Державиным, Пушкин замечает: «И. И. Дмитриев уверял, что Державин повесил сих двух мужиков более из поэтического любопытства, нежели из настоящей необходимости» (стр. 450). Желая отметить растерянность правительства, мобилизовавшего для подавления восстания летом 1774 г. гр. П. И. Панина, а также Суворова, прибывшего уже тогда, когда Пугачев был взят, Пушкин не без скрытой иронии замечает: «Таким образом покоритель Бендер пошел войною противу простого казака, четыре года тому назад безвестно служившего в рядах войска, вверенного его начальству» (стр. 367).

Из правительственных военных деятелей в эпоху пугачевского восстания Пушкин с положительной стороны безоговорочно выделяет



Кишиневские профили. Рисунки Пушкина по обеим сторонам рукописи «К моей чернильнице» 1821 г.

лишь А. И. Бибикова. «Это один из благороднейших характеров того времени, — пишет поэт, — свобода его мыслей и всегдашняя его оппозиция были известны», но тут же поэт отмечает, что Екатерина II никогда его не любила и что его подозревали благоприветствующим той партии, которая будто бы желала возвести на престол великого князя (стр. 448). Пушкин отмечает ежедневные мелочные досады и подлую дерзость временщиков, показывая, как часто достойные люди делались жертвой интриг. Он отмечает интриги Румянцева по отношению к Суворову и зависть первого к Бибикину (стр. 452). Таким образом Пушкин в своей «Истории Пугачева» отнюдь не является поклонником деятельности правительства и его военных ставленников¹.

Профессор Фирсов, давший, как известно, отрицательную оценку Пушкину, как историку, подчеркивает узко-сословную черту построения Пушкина и указывает на эпитет *сволочь*, которым пользуется поэт по адресу приставших к самозванцу инсургентов («История Пугачевского бунта» в академическом издании соч. Пушкина, т. XI, стр. 33, 1914). М. Н. Покровский также обращает внимание на выражение «чернь» и «сволочь», считая, что в них сказалось барское отношение Пушкина к деятелям революции низшего сословия². Но надо обратить внимание на то, что под словом «сволочь» в эпоху Пушкина часто разумелось нечто иное, нежели теперь. Так, Пушкин писал: «Около их скопилось неимоверное множество татар, башкирцев, калмыков, бунтующих крестьян, беглых каторжников и бродяг всякого рода. Вся эта сволочь» и т. д. Из контекста ясно, что под башкирцами, татарами и калмыками разумелась сволочь не в смысле всякой дряни, а в первоначальном значении этого слова: «сволочь — что сволоклось в одно место. (Даль; см. В. Брюсов, «Мой Пушкин», стр. 185, 1929). Словом «чернь», обычно соответствовавшим у Пушкина французскому *populace*, также нельзя оперировать однозначно; порою оно просто значит «простонародье». Но, разумеется,

¹ Что касается «Капитанской дочки», в которой Пугачев расценивается Пушкиным аналогичным образом, то очень отчетливо это отношение Пушкина улавливается советскими читателями. Красноармеец Ч. Домен писал: «Мне Пушкин дорог за то, что написал «Капитанскую дочь» и что Пугачева, как героя и вождя революции и крестьян, провел в жизнь, в народ, под прикрытием «Капитанской дочери». И так Пушкин околпачил Николая Палкина I. Пушкин замазал ему глаза «Капитанской дочерью», в которой сидела гибель его династии и вообще буржуазного строя. Буржуазный класс за капитанскую дочь и Гриневым не видел, что за этими героями ходит герой настоящий, герой с мечом над головой самодержавия, воспитующий народный класс, интеллигенцию, революционеров. Вот вам и капитанская дочь. Нет, это Пугачев, а не капитанская дочь, настоящий герой» («Известия ЦИК СССР» от 5/1 1937 г.).

² М. Н. Покровский, Пушкин-историк (Пушкин, Полное собр. соч., приложение к журн. «Красная нива» за 1930 г., V, стр. 8—9).

необходимо допустить также и то, что Пушкин сознательно «чернил» простонародье, и не столько с точки зрения своих дворянских позиций, но очень ловко и тактично маневрируя перед царской цензурой.

Надо поражаться, что Николай I пропустил «Историю пугачевского бунта», лишь весьма незначительно ее искалечив¹. Трудность заключалась в том, что император пожелал сам просмотреть рукопись. Сохранилась тетрадь текста «Истории Пугачева» с собственноручными пометами Николая I. Она недавно была обстоятельно проанализирована Т. Г. Зенгер («Литературное наследство», т. XVI—XVIII). В поэзии Николай I не считал себя специалистом и передавал рукописи Пушкина другим лицам на просмотр. В текстах военной истории он решил разобраться сам. Мы теперь знаем, что Николая I покорило, что генерал Траубенберг мог «бежать» и быть убитым у ворот своего дома. Пушкину пришлось переделать и выпустить в печати это слово вовсе. Для Николая I также было неприемлемо такое же выражение о солдатах Валленштерна. Принята была поправка: «Отряд его смешался» (стр. 324).

По поводу убитых под Татищевой, тела которых плыли мимо крепостей, у Пушкина было следующее отступление: «В Озерной старая казачка (Разина) каждый день бродила под Яиком, клюкою пригребая к берегу плывущие трупы и приговаривая: «Не ты ли мое детище? не ты ли мой Стёпушка? не твои ли черные кудри свежа вода моет?» и, видя лицо незнакомое, тихо отталкивала труп» (гл. 5). В этом отступлении эпизод из эпохи пугачевской борьбы очень выразительно переключается с памятью о Степане Разине. Николай I не пропустил мимо своего внимания этих строк, но довольно либерально пометил: «Лучше выпустить, ибо связи нет с делом». Пушкин воспользовался тем, что у Николая I не было решительного мнения, и перенес эти строки в примечание. Приходится отметить, что странным образом и в последних советских изданиях ГИХЛ эти строки исключены из основного текста (стр. 417). Также непонятным образом оказался нераскрепощенным от николаевской цензуры текст

¹ Уже по выходе книги в свет Пушкин отметил в своем дневнике: «В публике очень бранят моего Пугачева... Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге, как о возмутительном сочинении» (февраль 1835 г.). Даже в последнее десятилетие прошлого века образ Пугачева казался запретным. Очень любопытен отзыв композитора П. И. Чайковского, одно время замышлявшего сделать «Капитанскую дочку» сюжетом оперы. Он писал вел. кн. Константину Константиновичу 30 мая 1888 г.: «Я не думаю, чтобы оказалось возможным появление на сцене Пугачева. Ведь без него обойтись нельзя, а изображать его приходится таким, каким он у Пушкина, т. е. в сущности удивительно симпатичным злодеем. Думаю, что, как бы цензура ни оказалась благосклонной, она затруднится пропустить такое сценическое представление, из коего зритель уходит совершенно очарованный Пугачевым».

в фразе: «Суворов с любопытством расспрашивал пленного мятежника» (стр. 378). У Пушкина было: «славного». Пушкину пришлось заменить слово «славного» на «пленного», и эта замена удержалась во всех советских изданиях.

Наконец, самое поразительное: царь велел изменить заглавие и вместо «Истории Пугачева» печатать «История Пугачевского бунта», потому что, по выражению Николая, «преступник, как Пугачев, не имеет истории». До самого последнего времени заглавие, данное Николаем I, оказалось неотменным¹, между тем это обстоятельство очень существенно и должно было бы изменить отношение критики к исторической методологии Пушкина.

Историческую методологию поэта принято расценивать очень низко, и Пушкин считается стоящим не на уровне века в области теории исторического познания. Пушкин, как известно, был поклонником истории Карамзина. Летопись того типа, который культивировался Карамзиным, казалась поэту образцом исторического повествования. «Историю русского народа» Полевого, писанную автором вразрез с исторической традицией, установленной Карамзиным, Пушкин аттестовал очень сурово². Между тем Полевой уже находился под влиянием новейшей историографии, того же Тьерри и Гизо. М. Н. Покровский готов простить Пушкину пренебрежительное отношение к новым историческим веяниям, поскольку они проникали сквозь дилетантское (по выражению М. Н. Покровского) произведение Полевого, но делает упрек поэту, что он пропустил такую работу европейского типа, как «Древнейшее право руссов» Эверса³. Нет спора, что исследование Эверса оставило глубокий след в русской историографии. Мы памятуем признание С. М. Соловьева, подчеркнувшего в своих записках: «Не помню, когда именно попало мне в руки Эверсово «Древнейшее право руссов»; эта книга составляет эпоху в моей умственной жизни, ибо у Карамзина я набирал только факты. Карамзин ударял только на мои чувства, Эверс ударил на мысль; он заставит меня думать над русскою историею» (Записки С. М. Соловьева, стр. 60).

Пушкин не преодолел этапа карамзинской историографии. Он держался «старой исторической школы, которая главную роль в исторической жизни народов относил к лицу и случаю» (Фирсов, стр. 29).

¹ Оно снято лишь в только что вышедших предъюбилейных изданиях Пушкина (1936 г.), ГИХЛ и «Academia».

² Впрочем, в сохранившихся набросках третьей статьи Пушкина о II томе «Истории» Полевого намечается другое, более благосклонное отношение поэта к этому труду.

³ М. Н. Покровский, Пушкин-историк, стр. 5.



Рисунок Пушкина на черновике первой песни «Полтавы», 1828 г.

Пушкин не останавливается на социальных группировках, не анализирует жизни общества, как столкновений интересов классов. Пусть так. Но нельзя Пушкину ставить в вину, что он не читал книжки Эверса. Присяжным историком он не был и специально за развитием историографии не следил. Однако нужно отметить важное обстоятельство. В своем труде Пушкин не преследовал задачи проанализировать в целом пугачевское движение. В цензурных условиях того времени он не мог и мечтать напечатать такой труд. Пушкин поставил себе очень скромную цель изображения исторической биографии Пугачева; его история кончается казнью Пугачева, и о движении на Поволжье после его смерти он не говорит ни слова. При оценке исторического труда Пушкина нельзя исходить из навязанного Пушкину Николаем I заглавия, расширительно толкуя его тему. У Пушкина не было разработанной методологии в области истории, но он обладал гениальным чутьем. Сказать, что он понимал процесс чисто индивидуалистически, было бы несправедливо. В «Истории Пугачева» рассеяны намеки, позволяющие отметить, что его кругозор был широк.

В своих «Общих замечаниях» Пушкин писал: «Весь черный народ был за Пугачева; духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противоположны. (Класс приказных и чиновников был еще малочислен и решительно принадлежал простому народу. То же можно сказать и о выслужившихся из солдат офицерах. Множество из сих последних были в шайках Пугачева)» (стр. 453). Разве приведенные соображения не являются основой для возможной характеристики пугачевского движения в разрезе столкновений интересов классов? Поучительно также и следующее замечание Пушкина о яицких казаках: «Бибиков понимал их и Пугачева, когда писал фон-Визину следующие замечательные строки: «...не Пугачев важен; важно общее негодование» (стр. 333). Пушкин подчеркивал популярность Пугачева и не мог не задумываться над причинами ее. Он писал: «Уральские казаки (особливо старые люди) доныне привязаны к памяти Пугачева. Грех сказать, говорила мне 80-летняя казачка: на него мы не жалуемся; он нам зла не сделал.— Расскажи, говорил я Д. Пьянову, как Пугачев был у тебя посаженным отцом, — Он для тебя Пугачев, отвечал мне сердито старик, а для меня он был великий государь Петр Федорович. Когда я упо-

мянул о его скотстве и жестокости, старики оправдывали его, говоря: не его воля была, наши пьяницы его мutilи» (стр. 450).

Опрометчиво упрекать Пушкина в игнорировании им в «Истории Пугачева» факторов социальной жизни. Предварительно нужно учесть скудный состав источников, бывший в распоряжении поэта, специальную установку его на личность Пугачева, как тему его исторического исследования, те цензурные рамки, которые он не мог не чувствовать, и ту дворянскую концепцию, из которой он так или иначе исходил. К заслугам поэта, как историка, нужно отнести другое. Это — его язык, общий стиль его исторического повествования, его умение стройно и отчетливо описывать исторические явления в их последовательности и постепенности развертывания. Как много поучительного в этом простом описательном стиле для историков, всецело увлекшихся схематическими построениями и потерявших чутье к восприятию и изображению конкретной исторической действительности.

В эпоху Пушкина не была поставлена проблема критики исторических текстов. Значит ли это, что поэт без анализа ориентировался на любом материале, не расценивая его с точки зрения достоверности? Когда Пушкину пришлось вступить в полемику с Броневским, давшим критический разбор «Истории Пугачева», он показал, что вполне может разбираться в источниках, сопоставляя и проверяя данные различных документов. Приводя обширный свод разных материалов, на которые он опирался в своих примечаниях и приложениях к «Истории Пугачева», он отдавал себе отчет в их сравнительной ценности. Он, например, весьма выразительно отметил — «болтовня» (стр. 404) — по поводу краткой исторической французской записки „Histoire de la révolte de Pougatschef“.

В материалах другого обширного исторического цикла, посвященных Петру I (о чем речь впереди), Пушкин шел, может быть, элементарным, но вместе с тем критическим путем. В основу своей неосуществленной «Истории Петра I» он решил положить тридцатитомный труд И. И. Голикова «Деяния Петра Великого». В сохранившихся черновиках поэта мы видим выделенным общий ход жизни и деятельности Петра, осторожно извлеченный из труда Голикова. Конспектируя его изложение, Пушкин расставлял знаки вопроса и замечания (Когда? Сколько? Невероятно. Чего? и т. п.), считая, что приведенные Голиковым сомнительные или недостаточные данные нужно выверить по другим источникам. Чаще всего такие вопросы поставлены при изложении конкретных данных, цифр и т. п.

Личность Петра для Пушкина, как это ни покажется странным,

была в известной мере сродни Пугачеву, — по темпераменту и силе характера. В записях Пушкина о русском дворянстве 1830 г. читаем: «Петр I — одновременно Робеспьер и Наполеон (воплощение революции)».

Образ Петра I занимает огромное место в творчестве Пушкина. В 1827—1828 гг. Пушкин пишет «Арапа Петра Великого», первое большое прозаическое сочинение. Из своих семейных преданий Пушкин взял фигуру А. П. Ганнибала, окружив ее описательно-бытовыми подробностями, связанными с личностью Петра I. В 1828 г. Пушкин создает свою последнюю романтическую поэму «Полтава», обильно используя исторические материалы о Мазепе и о Полтавской битве. Для Пушкина Петр I был не только значительной фигурой среди деятелей русской истории; личность Петра интересовала Пушкина не только в плоскости поэтических черт, связанных с образом Петра, — Петр I был для Пушкина одним из тех исторических явлений, на которых он строил свои социологические обобщения. По изменению оценки Пушкиным исторической роли Петра I можно судить о сдвигах в социально-политических взглядах поэта. Первоначально Пушкин, усматривая в Петре черты деспотизма в духе Наполеона, высказывался, однако, вполне положительно о его деятельности; он писал о Петре в своих исторических замечаниях (1822 г.): «Аристократия после него неоднократно замышляла ограничить самодержавие, к счастью хитрость государей торжествовала над честолюбием вельмож, и образ правления остался неприкосновенным. Это спасло нас от чудовищного феодализма, и существование народа не отделилось вечною чертою от существования дворян. Если бы гордые замыслы Долгоруких и проч. совершились, то владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили бы или даже вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния, ограничили бы число дворян и заградили бы для прочих сословий путь к достижению должностей и почестей государственных». Этот взгляд Пушкина вскоре сменился другим отношением поэта к делу Петра. Реформы, связанные самодержавной волей Петра I, были прогрессивным явлением для тогдашней России, но Пушкину в современных ему представителях самодержавия приходилось наталкиваться на такие отрицательные черты, что он начинал колебаться и в оценке родоначальника императорской власти в России. Против гнета самодержавия в нем поднимался протест, созвучный установкам декабристов, и он уже готов был взглянуть на дворянство, как на хорошо организованный класс, являющийся защитником законности и права перед верховной властью.



Цушкин верхом на лошади. Автопортрет

В «Медном всаднике» (1833 г.) Пушкин, хотя и ищет примирения с мощным «властелином судьбы», творцом любимого Пушкиным Петербурга, но заявляет свой протест с точки зрения загубленных Петром I жизней. В образе «горделивого истукана» недвусмысленно проступают черты великого разрушителя, подавляющего такие искания свободы, как замыслы декабристов. Надо помнить, что Николай I расценивал себя как преемника дела Петра I и в последнем хотел усмотреть свой прообраз. Пушкин засвидетельствовал это сопоставление в стансах «В надежде славы и добра». Согласно высказываниям поэта 1834 г. можно думать, что у Пушкина к концу жизни установилось двойственное отношение к Петру I. Он писал: «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами, первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности, или по крайней мере для будущего, вторые вырвались у нетерпеливого, самовластного помещика»¹.

При исключительно обостренном интересе к личности и деятельности Петра I понятно то волнение, которое охватило поэта, когда ему в 1831 году был открыт доступ в архивы для составления истории Петра I. Бенкендорфу Пушкин писал о работе над историей Петра, как о давнишнем своем желании. М. П. Погодину, которого поэт хотел привлечь к сотрудничеству в своих исторических работах, он сообщал в апреле 1834 г.: «К Петру приступаю со страхом и трепетом». Поэт хотел жизнь Петра I сделать предметом двух работ: исторической и поэтической. В своих воспоминаниях о Пушкине В. И. Даль писал: «Пушкин потом воспламенился в полном смысле слова, коснувшись Петра Великого, и говорил, что, кроме деэписания об нем, создаст и художественное в память его произведение». Тут же Даль приводит собственные слова Пушкина: «я еще не мог доселе постичь и обнять вдруг умом этого исполина: он слишком огромен для нас, близоруких, и мы стоим еще к нему близко, — надо отодвинуться на два века, — но постигаю его чувством; чем более его изучаю, тем более изумление и подобострастие лишают меня средств мыслить и судить свободно. Не надо торопиться; надобно освоиться с предметом и постоянно им заниматься; время это исправит».

Посетивший Пушкина за три недели до его смерти переводчик дневника генерала Гордона (ценнейшего документа для характери-

¹ Ср. «Литературное наследство», т. XVI—XVIII, стр. 490; в этом томе дан предварительный обзор материалов Пушкина по Петру I пишущим эти строки.

стики времени конца XVII в.) Д. Е. Кёлер, беседовавший с поэтом об истории Петра I, так пишет об отношении Пушкина к Петру: «Об этом государе, — сказал он между прочим, — можно написать более, чем об истории России вообще. Одно из затруднений составить историю его состоит в том, что многие писатели, недоброжелательствуя ему, представляли разные события в искаженном виде, другие с пристрастием осыпали похвалами все его действия»¹.

Современники Пушкина с большим интересом относились к доходившим до них слухам о новых занятиях поэта. Кроме приведенного выше, мы располагаем отзывами А. В. Веневитинова, Погодина, О. М. Сомова, А. И. Тургенева, Чаадаева, А. Я. Булгакова, В. А. Муханова, Н. М. Языкова, А. М. Языкова, Е. А. Энгельгардта и др. Приведем выдержку из письма И. В. Росковшенко к И. И. Срезневскому от 22 октября 1831 г.: «Пушкин живет в Царском селе; он остепенился, и пишет, как ты думаешь, что? Поэму? Нет! Трагедию? Нет! — Сказать ли? Любопытно ли тебе знать? Ну, слушай. Ему открыты все архивы, и он пишет историю Петра Великого. Каково! Ты не ожидал сего от Пушкина. Новые гениальные способности!»

Однако, условия петербургской жизни 30-х годов мало способствовали научным и литературным занятиям поэта. История Петра в законченном виде у Пушкина так и не осуществилась. Как это и естественно для поэта, тема о Петре Великом прежде всего послужила Пушкину толчком для его поэтических созданий: в первом томе «Современника» (1836 г.) мы находим пьесу Пушкина «Пир Петра Первого». Что же касается архивов, то Пушкину не пришлось вовсе заняться подлинными делами эпохи Петра.

Поэт был очень скромно в оценке своих исторических знаний. До конца жизни он считал себя плохо ориентированным в литературе эпохи Петра I. 14 октября 1836 г., благодаря М. А. Корфа за присылку книг по Петру I, он писал: «Прочитав эту номенклатуру, я испугался и устыдился: большая часть цитованных книг мне неизвестна». Вместе с тем после смерти поэта в его кабинете была обнаружена большая стопа бумаг с черновыми записями по истории Петра I. Они заключают упомянутые выше конспективные выписки из девяти томов «Деяний Петра Великого» И. И. Голикова. Даты, проставленные на полях, определяют время составления этих записей — 1835 год. Скрепленные жандармской сшивкой, выписки Пушкина составили тридцать одну тетрадь, давших в совокупности около

¹ Соч. Пушкина, под ред. П. А. Ефремова, изд. А. С. Суворина, т. VIII, стр. 586.

пятнадцати листов печатного текста. Записи представляют несомненный интерес, поскольку они не являются повторением голиковского текста, а носят на себе следы переработки Пушкина: многое поэт изложил по-своему, свойственным ему языком, кроме того, в пушкинском тексте немало самостоятельных отступлений — характеристик, пояснений, обобщений, не говоря уже о том, что в подборе ряда выписок сказалась определенная точка зрения самого Пушкина.

Приведем примеры оценок Пушкина в его черновых выписках: «5 февраля (1722 г.) Петр издал манифест и указ о праве наследства, т. е. уничтожил всякую законность в порядке наследства, а отдал престол на произволение самодержца». Под тем же 1722 г. Пушкин записал: «Петр был гневен. Несмотря на все его указы, дворяне не явились на смотр в декабре. Он 11 января издал указ, превосходящий варварством все прежние, в нем подтверждал он свое повеление и изобретает новые штрафы. Нетчики поставлены вне закона».

Следует задать себе вопрос, какую цель ставил себе поэт, перелагая в сжатом виде ход жизни и деятельности Петра I по «Деяниям Петра Великого», — ведь таких записей оказывается не менее пятнадцати печатных листов. Здесь мы наталкиваемся на очень оригинальный способ работы Пушкина, идущий вразрез с обычной практикой исторической работы. Прежде всего надо оставить мысль, что черновые записки сделаны Пушкиным в целях усвоения труда Голикова. Это не простой конспект, к которому мы прибегаем для лучшего обозрения сложного и объемистого исследования. Материал у Голикова расположен в очень наглядной хронологической последовательности, с отчетливыми рубриками и указанием содержания на полях отдельных частей. Конспект дан самим автором, и в дублировании его не было никакой нужды. Одна запись Пушкина выявляет назначение его сжатого обозрения истории Петра: излагая по Голикову (ч. I, стр. 322) о действиях Якова Долгорукова под Перекопом, Пушкин пометил: „*Seigrez, serrez*“. Очевидно, Пушкин здесь уже думал о будущем тексте своей собственной истории, вырабатывая сжатый стиль изложения исторических событий. Таким образом в сохранившихся пушкинских черновиках мы имеем ту канву исторического рассказа, которая должна была лечь в основу неосуществленной «Истории Петра». Это подтверждается характером изложения в «Истории Пугачева»: в ней также Пушкин был очень близок к источникам, на которые он опирался, он накладывал на материал лишь свой стиль рассказа — отчетливого, сжатого, и конкретное повествование. Но зададимся вопросом: неужели же Пушкин считал возможным быть настолько самостоятельным по отно-

шению к Голикову? А архивные данные? А подлинные документы, которые он привлек к «Истории Пугачева» и которых он добивался в отношении к эпохе Петра? Сообщение Кёлера, цитировавшегося выше, проливает свет на эту сторону дела. Кёлер писал: «А. С. на вопрос мой — скоро ли будем иметь удовольствие прочесть произведение его о Петре, отвечал: «Я до сих пор ничего не написал, занимался единственно собиранием материалов; хочу составить себе идею обо всем труде, потом напишу историю Петра в год или в течение полугода и стану исправлять по документам» (разрядка наша.—П.П.)

Последние слова находят свое подтверждение в сохранившихся черновиках Пушкина. В его рукописях, как указано выше, пестрят вопросительные знаки и другие пометы, указывающие на то, что Пушкин предполагал в других источниках искать уточнений и дополнений к сведениям, взятым из «Деяний Петра Великого».

Приведем примеры.

Вот пушкинская тетрадь с изложением событий 1696 г. Пушкин, например, фиксирует: «Петр писал к Апраксину в Архангельск». Рядом в скобках он проставляет «когда». Излагая осаду города при втором Азовском походе, Пушкин записывает: «несколько судов... во время битвы прошли в Азов и доставили осажденным 3000 бомб, 5000 гранат, 500 ружей, 700 копий, 86 бочек пороху и на 3000 человек запасов». Сомневаясь в количестве копий, Пушкин против числа их поставил знак вопроса, а в конце всей фразы пометил: «все это рассказано Голиковым очень сбивчиво». В той же рукописи Пушкин отметил: «Яков Вилимович Брюс сочинил... карту от Москвы к югу до берегов Малой Азии, и Крымскую татарину». Рядом стоит помета: «Достать из Главного штаба».

Под 1697 г. по поводу заговора Соковнина и Цыклера Пушкин записал: «В истории Меншикова сказано, что некоторые из оппозиционных вельмож приблизились к нему, стараясь и его привлечь на свою сторону: что таким образом узнал он о заговоре и донес о том государю». Рядом в скобках стоит: «невероятно».

Среди изложения событий 1712 г. читаем: «Указом 11 июня Петр повелел Сенату судить сенаторов, оставшихся в Москве и ослушавшихся указа государя касательно высылки дворянина Головкина (чем дело кончилось? и кто был сей Головкин?)».

В рукописи ХХ, в которой идет речь о 1722 г., значит: «24 янв. издана табель о рангах (оную и зучить)».

Мы видим, что Пушкин шел несколько необычным путем в своей исторической работе. Если историки начинают с изучения рукописных

материалов, сопоставления их, выписок из них и т. д., то Пушкин в своей работе вначале ставил идею целого и, в связи с этим, — общий план изложения. Уже выработав основную линию повествования, Пушкин предполагал привлечь рукописный документальный материал, чтобы осветить и уточнить те данные, которые вызывали сомнение или составляли для него особый интерес.

Для своего времени труд Голикова считался исчерпывающим. Высказывались насмешливые замечания по поводу нелепого слога первого историка Петра I, но основной свод его считался непоколебимым. Пушкин, как видно, готов был положить труд Голикова в основу своего труда, но до выправки сведений из Голикова по другим источникам и документальным данным дело не дошло. Не потому ли, что Пушкин все же усомнился, можно ли настолько близко держаться Голикова и исходить из него? Его отзывы о грандиозности задачи написания истории Петра I и вышеприведенная аттестация своих знаний в переписке с Корфом показывают, что Пушкин очень колебался в достаточности и закономерности своего подхода. По сохранившимся черновикам видно, что он оборвал свои занятия в конце 1835 г. и дальше в своей работе не пошел. Тетради Пушкина свидетельствуют об одном из предварительных этапов его исторической работы.

Любопытна судьба этих черновых тетрадей. После смерти Пушкина их пожелал просмотреть Николай I. В неопубликованном письме к Николаю I от марта 1837 г. В. А. Жуковский писал: «Основываясь на том, что я имел счастье лично слышать от вашего императорского величества, я уведомил министра народного просвещения, что ваше величество насчет издания сочинений Пушкина соизволили изъявить мне следующее: «сочинения уже напечатанные пропустить, не подвергая их новому разбору; сочинения еще не напечатанные отдать в цензуру для разбора по установленному порядку; все рукописи, касающиеся до Истории Петра Великого, предварительно представить вашему императорскому величеству» (письмо хранится в Пушкинском доме в Ленинграде).

Николай I признал в цензурном отношении материалы по истории Петра I неприемлемыми, и они были отложены. Когда в 1839—1840 гг. было намечено посмертное издание неопубликованных при жизни произведений Пушкина, вопрос о материалах по истории Петра был пересмотрен.

В феврале 1840 г. В. А. Жуковский писал Николаю I: «Сочинения Пушкина, оставшиеся по смерти его, собраны и скоро будут приготовлены к изданию в свет. В числе их находится рукопись, содержащая материалы для истории Петра Великого, которую я уже имел

счастье представлять на рассмотрение вашего императорского величества. Тогда вы соизволили заметить, что сия рукопись издана быть не может по причине многих неприличных выражений насчет Петра Великого. Теперь манускрипт пересмотрен со вниманием и все замеченное или выброшено или исправлено. Испрашиваю всеподданнейше позволения у вашего императорского величества напечатать сию рукопись; ибо исключением оной из сочинений Пушкина прибыль от издания их в пользу его детей может уменьшиться на 25 000 рублей». (Не напечатано, хранится в Всесоюзной Публичной библиотеке им. Ленина).

В 1840 г. рукопись была пропущена цензурой, но было сделано столько выкидок с «непочтительными» отзывами о Петре I, что текст оказался обескровленным, и издатели, которым было продано право опубликования посмертных произведений Пушкина, от *Истории Петра I* в таком виде отказались. В 1841 г. рукопись была сдана на руки Н. Н. Пушкиной ввиду того, что Опекунство «при всем старании своем не могло продать книгопродавцам рукописи сей для издания оной в свет и не имеет надежды в скором времени продать оной». В 50-х годах Анненков по копии опубликовал в новом полном Собрании сочинений Пушкина несколько отрывков из «Истории Петра», используя частично места, запрещенные цензурой. Дополнительно ряд этих цензурных выкидок был воспроизведен в публикации Анненкова 1880 г. («Идеалы А. С. Пушкина»), но текст в целом всей «Истории Петра» оставался неопубликованным.

Самые рукописи затерялись и считались утраченными. В 1917 г. они были случайно обнаружены в усадьбе в Лопасне под Москвой Натальей Ивановной Гончаровой, племянницей жены поэта. Часть листов уже была растащена, и затерявшийся ящик с рукописями был обнаружен в связи с тем, что одним из листов была устлана клетка канарейки; взглядевшись в этот листок, убедились, что он исписан рукой поэта.

Из тридцати одной тетради уцелело лишь двадцать две. Эти двадцать две тетради через Щеголева поступили в Пушкинский дом в Ленинграде, где и хранятся в настоящее время. Текст утраченных девяти тетрадей можно восстановить по сохранившейся копии, цензурированной в 1840 г. За годы революции были дополнительно опубликованы тексты двух неизвестных тетрадей. Впервые целиком тексты всех тридцати одной тетрадей будут напечатаны в академическом издании Пушкина, выпускаемом в связи со столетней годовщиной со дня смерти поэта.

**ВЕСТНИК
АКАДЕМИИ НАУК
СССР**



1 8 3 7 - 1 9 3 7

2-3

**ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА ЛЕНИНГРАД
1937**